

## Свет души



И. Островский

Он умер в сентябре 1993 года. А за несколько месяцев до этого рокового дня я встречался с ним в Израиле, договаривался, что Всемирный клуб одесситов пригласит его в дни 200-летия Одессы, которую он так любил, с выставкой... Если только позволит здоровье... И мы оба надеялись, что позволит, что чудеса современной медицины... Но Осик — так все мы его звали — ушел из жизни... И тогда эту выставку считали своей обязанностью собрать, открыть мы, одесситы.

У этого художника было как бы два творческих рождения. Выпускник художественного училища, ученик П. Коновского, Л. Токаревой-Александрович, Д. Фруминой, он честно и талантливо продолжал заветы южнорусской школы, своих учителей. Но — так случилось не с одним мастером — в какой-то день ему стали тесны рамки одесской традиции.

Его звали к себе тени забытых предков, образы людей Библии.

Вначале эти холсты стояли, пугливо повернутые к стене, в его мастерской. Потом он начал показывать их друзьям. И наконец наступил день, когда всесоюзный еврейский журнал "Советише Геймланд" предложил ему показать все эти картины в Москве на выставке.

И открылся новый художник. Поэт. Мечтатель. Философ. Мастер, научившийся мудро улыбаться. И при этом не стеснявшийся быть сентиментальным, не боявшийся, что его герои покажутся кому-то некрасивыми, чудаковатыми.

Есть внешняя и внутренняя красота, как есть внутренний свет — свет души. Об этом знал, это утверждал своими холстами и акварелями Иосиф Меерович Островский, мастер, которому в 2005 году исполнилось бы 70 лет.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

## "Денно, ночью, вечно..."

Однажды летом, где-то в середине 1980-х гг., когда в моей одесской квартире собрались близкие друзья по случаю очередного дня рождения автора этих строк, Иосиф Островский в непринужденном тосте сказал несколько добрых слов о "новорожденном" и шутливо добавил:

— Как пелось в лучшем довоенном советском фильме "Свинарка и пастух", "друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве".

В самом деле, мы впервые повстречались в Москве. Было это, по моему, осенью 1975 года. Прилетел я в столицу и остановился у хороших своих друзей Кодзасовых. В их милом доме в ту пору почти всегда кто-то гостил, и чаще всего — одесситы. Я прибыл вечером, и меня сразу познакомили с одесским художником Осиком Островским, который пробыл у них недельку и улетал на следующий день. В "гостевой" комнате была всего одна кровать, и мне на эту ночь поставили раскладушку. Однако она и не понадобилась. Всю ночь мы просидели, проговорили с Осиком, почувствовав взаимное расположение и интерес друг к другу. Тогда же узнал я кое-что об истории его жизни.

Родился он в маленьком городке Шепетовка, который с таким же успехом можно было бы назвать и местечком. Раньше каждый советский школьник связывал название этого населенного пункта с именем другого Островского, там же родившегося и выросшего, правда, тремя десятилетиями раньше моего друга. Речь идет, понятно, о писателе Николае Островском, авторе хрестоматийной в советское время книги "Как закалялась сталь". Мы еще шутили по этому поводу, что, дескать, не каждый Островский из Шепетовки — еврей, но зато и не каждому довелось стать прототипом Павки Корчагина.

В Одессе закончил Иосиф художественное училище, в этом городе жил и творил большую часть своей жизни.

До той московской встречи я лишь однажды на представительной одесской выставке видел две-три его работы, заинтересовавшие меня колоритом, не более того. Вернувшись из Москвы, впервые побывал в мастерской И. Островского и с удовольствием погрузился в мир его живописи. Особенно поразили меня тогда пейзажи, проникнутые особым настроением. Кажется тогда, когда я смог увидеть во множестве и оценить эти работы, вспомнились стихи Бориса Слуцкого:

Солнце сюда приходит,  
словно на службу. Я же  
денно, ночью, вечно  
в этом служу пейзаже.

В своем пейзаже "служил" и Осик, а посмотрев целый ряд его работ, нетрудно было убедиться в том, что мой новый друг — настоящий **Мастер**. Помимо того, нельзя было не заметить в нем удивительно привлекательную личность. Далекий от житейской суеты, органически неспособный энергично пробиваться к "куску пирога", был по-настоящему доброжелательным и внимательным человеком. Его большие темные красивые глаза лучились и вдохновением, и добротой.

В пятиэтажном доме на углу улиц Белинского и Чкалова (Большой Арнаутской) весь первый этаж был отдан под мастерские нескольким одесским художникам. Там находилась и мастерская Осика — просторная комната с двумя большими окнами. Частенько, возвращаясь после лекции, прочитанной в учебном корпусе на Французском (тогда Пролетарском) бульваре, я стучал в одно из этих окон. Приподняв занавеску, выглядывал слегка перепачканный красками Осик. Улыбался и бежал открывать входную дверь. Показывал свои новые работы, иногда рассказывал о временных творческих трудностях или об удачах, но и в том и в другом случаях рассказывал спокойно, с грустной улыбкой, без надрыва и без самолюбования. Иногда просил меня немного посидеть молча, если ему хотелось закончить начатый фрагмент или просто нанести нужный мазок.

Поскольку он нигде не служил, а был в полном смысле слов *свободным художником*, ему приходилось брать разные подряды в художественном фонде, чтобы зарабатывать на жизнь. Темы предлагаемых работ частенько вызывали у него какое-то душевное отторжение. Разумеется, он сторонился заказов на изображение "одухотворенных" лиц московских и киевских партийных вождей. Но даже конкретный заказной пейзаж или портрет какого-либо "знатного земляка" были ему изначально неинтересны. Если в разгар работы над таким заказом кто-либо из друзей стучался в его окно, он с извинительной улыбкой просил пришедших подождать минутку на улице, а сам разворачивал мольберт изображением к стене, занавешивал тяготившую его работу и только тогда отпирал дверь. Ему не хотелось, чтобы друзья видели эти полотна. Закончив заказ и сдав его комиссии худфонда, Осик отводил себе день на "рекреацию". Отправлялся в баню (домашнего душа было недостаточно), долго отмывался от "нечистой" работы, в хорошую погоду подолгу гулял, дышал свежим воздухом — словом, очищался и приходил в себя.

Как раз тогда, когда мы познакомились, в творчестве моего друга происходил довольно значительный поворот. Поначалу казалось, что коснулся он исключительно тематики его работ. До тех пор писал Осик прелестные пейзажи и выразительные портреты, на которых мог быть запечатлен кто угодно — от дочери Светланы в детском возрасте до незнакомо солдата Советской Армии. Первая персональная выставка Островского была открыта в Одесском музее западного и восточного искусства на Пушкинской улице в конце 1970-х гг. Она была очень насыщенной и неплохо представляла широкий диапазон и художественную силу мастера. Но в душе Осика и в его мастерской начинался уже совсем другой, неведомый, новый Островский.

Дело в том, что он, как говорят в подобных случаях, "заболел" — заболел иудаикой, и его художественное мировосприятие выделило в этом весьма широком диапазоне специфический створ тем и героев. Островский стал писать мир еврейских стариков. Не библейских мудрецов и пророков, а скорее — слегка мифологизированных местечковых стариков с налетом ветхозаветной древности. Думается, неправы были те его коллеги, кто спешил обнаружить в этом повороте лишь результат прямого воздействия живописи Шагала или графики Каплана, или... Всех этих художников и знал Осик, и любил, но искал собственный путь — своих стариков, свои формы, свои цвета.

Поначалу некоторым его друзьям и собратям по цеху показалось, что это неординарное увлечение как пришло, так и пройдет за несколько лет. Ну, напишет Островский десяток-другой работ из этой серии, потом снова вернется к любимому пейзажу, к портрету с живой натуры, ну, словом, все опять будет, "как у людей". Не всё, более того — не многое в его первых иудаистических эскизах было понятно и даже приемлемо: что-то казалось повторением уже известного, что-то недостаточно прописанным. "Нет, не туда он завернул, пора ему вернуться к натуре!". Уезжал летом Осик на месяц в дом творчества, куда-нибудь в Седнев под Черниговом или в Гурзуф, ходил там, как положено, на этюды, делал милые наброски, к которым потом либо не возвращался, либо возвращался неохотно. Когда я поселился в симпатичном месте Одессы, на Комсомольском бульваре (теперь это, кажется, бульвар Искусств), я пригласил его прийти на бульвар с этюдником:

— Ты там в разное время дня и в разную погоду сможешь увидеть такие краски моря...

Осик грустно улыбнулся и как бы в шутку, а на самом деле вполне серьезно, ответил:

— Марк, если у тебя на бульваре будут интересные лица старых евреев, скажи мне, ладно?

С некоторым опозданием стал я понимать, что друг мой как художник уже жил в особом, созданном его воображением мире. Уже чувствовал его образность, очертания и цвет, испытывая на первых порах трудности в адекватном переводе своего мира на холст. Но то были трудности, как говорили во время оно, диалектического художественного процесса. Вскоре изпод кисти мастера стали появляться — одна за другой — очень интересные и уже вполне соответствующие его внутреннему мироощущению картины.

Мог он изредка и отвлечься от магистральной темы ради небольшого городского пейзажа, но то уже были для него маргинальные интересы. Вспоминается занятный эпизод, когда он решил однажды написать мой портрет. Несколько раз я попозировал, пока он не закончил карандашный вариант. Пригласил взглянуть на бумагу. Добрый мой друг, он изобразил свою модель и моложе, и красивее, чем было в действительности, и все же слишком реалистично для его индивидуальной манеры. Я не знал, как высказать свое мнение, чтобы не задеть художнического самолюбия. Он, мудрый мастер, все прекрасно понял сам:

— Похоже на соцреалистический портрет, да? Ты не будешь возражать, если я порву его?

Я согласился с таким решением, и больше мы к мысли о портрете не возвращались. Художник уже прочно вошел в новую фазу своей творческой эволюции, когда живая натура только мешала: она была чужеродна его миру, населенному странными, разноцветными, нескладными стариками с пейсами и бородами. У различных стариков были разные выражения глаз, разная экспрессия. Некоторые смотрели с индивидуальных портретов, другие теснились группками среди каких-то трудно опознаваемых геометрических тел, которые можно было с некоторым допущением назвать и домами. (Два прекрасных портрета — "Старик со свитком" и "Старик с виолончелью" — в разные годы подарил мне Осик, и с этими портретами не расstaюсь я нигде; вот и сейчас они висят в моей любекской квартире на стене, как и пейзажи более раннего Островского.)

Постепенно, без рывков и форсажа пришло к любителям живописи понимание "нового Островского". Стали устраиваться выставки именно этой серии работ, хотя еще до горбачевской *перестройки* дело не дошло, и сама тематика работ Осика не вызывала добрых чувств у тех, кто "отвечал" за идеологическую работу в том или ином месте. Однако время брало свое. Если до середины 1980-х только какой-нибудь подмосковный академический

институт мог позволить себе устроить небольшую выставку живописной иудаики, то с середины восьмидесятых дело несколько упростилось.

Еще накануне перестройки большая выставка "нового Островского" была устроена в Москве, в редакции единственного в ту пору еврейского журнала в СССР "Советиш Геймланд" на Мясницкой улице (тогда ул. Кирова). У журнала этого была неважная репутация. Острые языки называли его не иначе как "Красный жид". Робость и верноподданничество окрашивали невыразительную литературную политику этого периодического издания. Пожалуй, приход на выставку Островского был единственным моим знакомством с тем журналом "изнутри". По коридорам небольшого помещения время от времени сновали какие-то неказистые на вид старые боязливые люди; втягивая головы в плечи и не обращая внимания на развешенную по стенам прекрасную живопись, они прятались в комнатках-норках своих отделов. На этом фоне выделялись две интересные внешне, не склонные к экивокам в речах женщины: заведующая отделом художественного оформления журнала и секретарь главного редактора. Чувствовалось, что они-то и были главными *деятели* при устройении выставки. На открытие собрались многочисленные вполне живые люди с явным интересом и к живописи вообще, и к этому художнику. Друзья Осика, прекрасные артисты Зиновий Гердт и Михаил Козаков, читали стихи. Книга отзывов была, что называется, нарасхват.

Появились у этой серии картин и покупатели. Сначала отдельные артисты, писатели, зарубежные интеллигенты — гости Одессы. А потом... началась повальная мода на Островского. Главными покупателями, как это ни странно, стали одесситы, отъезжавшие за рубеж на постоянное место жительства. Далеко не все из них разбирались в живописи: скорее, они покупали то, что на Западе могло бы иметь цену. Им писали "опытные" родственники из Бруклина или из Калифорнии: "Не везите сюда ничего лишнего. Покупайте льняное постельное белье и Островского". За ценой многие из этих покупателей не стояли, и моему другу уже не нужно было брать подряды в худфонде: на жизнь вполне хватало.

Поскольку спрос явно опережал предложение, у Островского сразу же появились деловитые подражатели. Один из таких "мастеров на все руки", в молодости небесталанный живописец, давно утративший к тому времени крепость творческих принципов, начал "выдавать на-гора" иудаику со скоростью копировочной машины, а непросвещенная масса отъезжавших, не успевшая "купить Островского", клевала и на такую наживку. Впрочем, немногочисленным истинным ценителям живописи несложно было разобраться, где было подлинное искусство, а где — подделка, халтура.

В конце 1980-х гг. Островские собрались эмигрировать. Не Осик был инициатором такого решения. Ему было хорошо и в Одессе, в своей мастерской, куда любили заглядывать самые разные люди, по преимуществу его добрые приятели: композитор Ян Фрейдлин, актер Семен Файер, коллеги-художники, литераторы... Главное же — ему было уютно в **его** мире, в мире его стариков. Когда я подарил ему роман Григория Кановича "Слезы и молитвы дураков", он сначала отнесся к этой книге недоверчиво: не спекулирует ли не знакомый ему писатель на еврейской теме? Но уже через два дня чуть не со слезами в голосе благодарил меня: он встретил на страницах этого прекрасного романа и своих героев.

Одесса не была тесна живописцу, но дети его — прежде всего дочь с семьей — надумали уезжать, и он не без грусти поплыл в кильватере семейной стратегии, видя в отъезде еще и общую историческую необходимость. К тому же в это время обнаружилась у него тяжелая болезнь — злокачественная опухоль в кишечнике. Первую операцию перенес он еще в Одессе, после чего понемногу пришел в себя, и семья отправилась в Израиль. Там его прооперировали вторично, и, казалось бы, Осик поправился, воспрял духом. Общие друзья встречались с ним на *Земле Обетованной* и видели его бодрым, активным, трудоспособным. Увы, то была лишь отсрочка на два-три года.

Он ушел из жизни в 1993 г., в возрасте 58 лет. Наш общий друг, композитор Ян Фрейдлин, видевший Осика незадолго до смерти, писал мне, что был Мастер уже другим — худым, бледным, грустным, и лишь глаза по-прежнему горели, светились добротой и талантом.

Сказать, что в Израиле Островского оценили по заслугам, значило бы погрешить против истины. Маленькая страна была уже к его приезду напигована живописцами — и даровитыми, и ремесленниками. В такой ситуации для успеха очень много значили (и значат!) энергия, напор, способность саморекламироваться, а вот этими-то "добродетелями" друг мой никогда не обладал. Более того — очень не любил всего этого и не без брезгливости относился к тем художникам, которые были склонны к такой жизненной тактике. Его истинная известность и слава остались в Одессе, где вскоре после кончины художника состоялась большая выставка его работ, где о нем не раз еще писали в прессе (притом куда грамотнее и искреннее, чем в русскоязычных израильских газетках). Надо полагать, еще не раз вспомнят. Его обаятельная личность и поистине замечательное живописное наследие, несомненно, того заслуживают.

Любек, ФРГ

## Последняя встреча

— Мне нужно позвонить в Сдерот!

— В Сдерот? Кто у тебя живет в такой глуши?!

— Как кто? Осик Островский! — отвечаю я, уверенная, что все должны знать Осика Островского, мимоходом про себя отмечая, что меня задело определение "в глуши". (Можно ли было тогда, более десяти лет назад, представить, что название Сдерот в наши дни будет звучать со всех телеэкранов — после обстрелов этого города палестинскими боевиками?)

Этот разговор происходил осенью 1992 года в Тель-Авиве, где я гостила у старых друзей моего мужа, его родителей и, естественно, моих.

Я позвонила в Сдерот и услышала голос Осика с его неповторимым тембром и интонацией: "Валечка!".

Осик сказал, что он должен днями быть в Петах-Тикве, в медицинском центре, а вечером, после лечения, придет ко мне в Тель-Авив. Так и случилось.

В один из ближайших вечеров раздался звонок, и на пороге квартиры друзей появился Осик. Собственно, не долгие годы и десятилетия прошли после нашего прощания в Одессе перед его отъездом в Израиль, а казалось, что прошла вечность.

Он изменился, чуть похудел, вместо прежней шевелюры — седой ежик волос, и тем не менее, передо мной был прежний Осик — с его улыбкой, с его еще более погрустневшими глазами...

Наши друзья, в полной мере сохранившие одесское радушие и гостеприимство (они уже относились к сословию "ватиким", так как жили в Израиле около двадцати лет), бросились угощать, кормить, поить, спрашивать, показывать квартиру.

— О, какой чудный Лоза! — безошибочно воскликнул Осик, бросившись к картине с одесским пейзажем, а я захлебнулась от радости.

Я готовилась к поездке в Израиль, подбирались подарки друзьям и родственникам, и нам хотелось подарить пригласившей меня Муре Новак, одесситке в нескольких поколениях, и ее мужу что-то по-настоящему одесское. Мы остановились на живописи. И тут мой муж, Женя, встретил на улице Адольфа Лозу и поделился с ним нашим выбором и желанием купить одесский пейзаж для подарка в Израиль. Адольф Иванович обхватил Женю за плечи, потащил в свою мастерскую и, ни за что не желая брать деньги, вручил ему щедро один из своих одесских пейзажей. А что-